

КАФЕДРА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

(Пері ёаѳтоѳ)

Греческий подзаголовок («О самом себе») для этих фрагментарных заметок выбран по аналогии с названиями некоторых византийских сочинений, которыми мне в своей жизни довелось заниматься. Но писать я буду, конечно, не о «самом себе», а о кафедре классической филологии, какой я ее видел и воспринимал в те далекие годы, о которых пойдет речь. Как и византийские мемуаристы, я начал писать, поддавшись на уговоры коллег и друзей, аргументы которых поразительно совпали с доводами их византийских предшественников: время и люди безвозвратно уходят и нельзя «предать пучине забвения события прошлого».

Мои заметки не упорядочены хронологически, но все, о чем пойдет речь, относится ко времени «позднего сталинизма», которое вместе со всей страной тяжело переживала кафедра.

Первую лекцию в Университете (с 9 до 11 утра 1 сентября 1946 г.) всему первому курсу читал невысокий человек в военноморской форме. Это была лекция по основам марксизма-ленинизма (позже этот предмет стал именоваться «Историей КПСС»). Я поступал на классическое отделение и весьма недоумевал, почему должен слушать на первой университетской лекции о зарождении не античной цивилизации, а марксизма в России. Однако очень скоро пришлось убедиться, что специальные дисциплины на факультете занимают отнюдь не первое место в учебных планах... Впрочем, кажется, уже в первый день после занятий нас собрала в кабинете кафедры (сейчас помещение кафедры общего языкознания) ее заведующая профессор Ольга Михайловна Фрейденберг для предварительной беседы и знакомства с первокурсниками.

Очень хорошо помню ее слова о том, что нам дается уникальная возможность учиться у очень крупных ученых, каждый из которых представляет свое особое научное направление, и мы будем вправе выбирать себе в будущем самостоятельно и учителей, и путь в науке. Вряд ли тогда все мы могли оценить справедливость и значение этих слов. Классическое отделение было в те времена «не

© Я. Н. Любарский, 2004

в моде», на него чаще всего попадали абитуриенты, не выдержавшие конкурса на другие отделения; кое-кто поступал, полагая, что его будут учить русской классической литературе или даже произведениям классиков марксизма. Однако Ольга Михайловна Фрейденберг была совершенно права: несчастный для страны период парадоксальным образом совпал со временем расцвета классической кафедры. Доказывать этот тезис не нужно, достаточно просто назвать несколько имен ее сотрудников: академик Иван Иванович Толстой, профессоры Иосиф Моисеевич Тронский, Соломон Яковлевич Лурье, доцент Яков Маркович Боровский. В это же время там работали доцент Георгий Андреевич Стратановский, Ананий Самойлович Бобович, начинали преподавательскую и ученую деятельность или учились в аспирантуре Софья Викторовна Полякова, Наталья Александровна Чистякова, Берта Львовна Галеркина, Натан Соломонович Гринбаум, Владимир Васильевич Каракулаков и другие.

Тем не менее — и это было понятно даже младшекурснику — ситуация на кафедре, и отнюдь не только по причинам политическим, была достаточно напряженной. О. М. Фрейденберг была «суровым» заведующим. Пик ее карьеры к тому времени, после смерти академика Н. Я. Марра, остался уже позади. Она была еще полна идей и планов «поворота» в классической науке, но явно не находила сочувствия и понимания ни среди большинства коллег, ни со стороны студентов. По-моему, лишь один студент того времени (Л. Голодников) находился в ее «научном фарватере». Вести с нами «рутинные» занятия и разбирать греческие тексты ей было откровенно скучно, хотя многие ее комментарии к древним авторам были чрезвычайно интересны, а кое-какие из них я помню до сих пор. Своих ученых коллег она уважала за эрудицию, но без всякой снисходительности относилась к их традиционности. Тех же, кто занимался только «рутинным» преподаванием, именовала без обиняков «шарманщиками», иногда даже публично...

Вообще в моем сознании она до сих пор представляется «железной леди», естественно, «в издании» полувековой давности. Помню, как во время болезни Ольга Михайловна проводила семинар в своей старой квартире на канале Грибоедова. Я должен был делать какое-то сообщение, которое предварил кокетливым замечанием, что доклад может показаться скучным. «Ну что же, — сказала Ольга Михайловна, — тогда нам придется включить радио». Весь доклад мне пришлось делать под звуки эстрадных песенок, лившихся из

репродуктора. Я начал писать свою дипломную работу под ее руководством, несколько раз был у нее дома и даже пользовался, как мне казалось, некоторым расположением, но когда после развенчания Н. Я. Марра О. М. Фрейденберг была изгнана из университета, а я, желая продемонстрировать свою независимость и сочувствие к опальному профессору, позвонил по телефону и попросил разрешения прийти, то получил довольно суровый отказ: никаких оснований для визита она не видела. Видимо, всякое проявление сочувствия или жалости было для нее унижительным.

Много лет спустя, прочитав воспоминания О. М. Фрейденберг и ее переписку с Б. Л. Пастернаком, я впервые понял, какой богатой духовной жизнью и как непросто и даже трагично жила основательница и первая заведующая кафедрой классической филологии, «суровая» Ольга Михайловна Фрейденберг. Впрочем, я не понимал тогда и многого другого. . .

Нашему курсу (приема 1946 г.) повезло значительно меньше, чем следующему (где в числе прочих учились И. Перельмутер и А. Шубик — будущие доктора филологических наук). Уже на первом курсе латинский язык преподавал у них Иосиф Моисеевич Тронский, а греческий — Соломон Яковлевич Лурье.

С профессором Лурье я познакомился значительно раньше, чем он стал читать у нас курс истории Греции. Весной 1947 г. он пригласил меня в эпиграфическую экспедицию в Керчь, организованную в связи с подготовкой нового издания «Корпуса Боспорских надписей». Ехать должен был довольно известный доцент исторического факультета, на которого уже была выписана командировка. Но в последний момент он отказался, как говорил ехидный Соломон Яковлевич, чтобы не обнаружить своего полного незнания греческого языка. . . Чтобы место не пропало, мне было предложено срочно его «заместить». Разумеется, я с восторгом согласился и отправился в Керчь вместе с С. Я. Лурье и А. И. Болтуновой под чужим именем и с чужой командировкой в кармане.

Эта поездка продолжалась три или четыре недели, и ее период был для меня, кроме всего прочего, временем благотворного и необходимого краха иллюзий. Конечно, их разрушителем оказался Соломон Яковлевич Лурье. Пожалуй, он впервые объяснил мне, первокурснику, что главное в филологических и исторических занятиях — не усвоение и генерация общих идей, а кропотливая и постоянная работа с текстами, что носители многих «громких» в те годы имен лишь косвенно причастны к науке и делают на ней соб-

ственную карьеру, что историю нередко «подправляют» в соответствии с конъюнктурными соображениями (так я впервые узнал, что «восстание Савмака» в Крыму, хотя и вошло уже в школьные учебники, на самом деле «возникло» в результате неправильно прочтенной надписи и тут же было разрекламировано как пример классовой борьбы в античности, да еще на территории нашей родины(!)), что «общая теория языка», в те годы почти столь же непреложная, как марксизм, — собрание нелепиц, хотя ее автор Н. Я. Марр — вполне достойный кавказовед и т. п. Соломон Яковлевич Лурье принадлежал к тому типу оставшихся не уничтоженными властью интеллектуалов, которые сохранили способность оценивать политику, ученых и их науку по «гамбургскому счету».

С. Я. Лурье откровенно и зло издевался над «марризмом», исповедовавшимся О. М. Фрейденберг. Но властям были глубоко безразличны их расхождения и вообще всякие научные «тонкости», и оба они еще в годы моей учебы были изгнаны из университета.

В те годы «идеологическая борьба» в стране и университете достигла максимального накала. Короткая послевоенная эйфория кончилась, с «политическими противниками» успели расправиться раньше и принялись за искусство, литературу и науку. О разгроме «космополитов», борьбе с «антимарристами», а потом с «марристами» и о других кампаниях на филологическом факультете Ленинградского университета публикации уже появились; хотя авторы самой значительной из статей Б. Ф. Егоров и К. М. Азадовский (опубликована в «Новом литературном обозрении») не были непосредственными свидетелями событий и источники их сведений не всегда точны, общая картина и атмосфера того времени воссоздана ими верно.

Идеологические чистки были в то время двух родов: большие и малые. Большие происходили в актовом зале университета или факультета при огромном стечении студентов и под непосредственным руководством секретаря партбюро Г. П. Бердникова (впоследствии благополучно закончившего карьеру на посту директора Института мировой литературы). Что касается «малых», то они организовывались чаще всего на кафедрах с меньшей помпой, но с не менее тяжелыми последствиями для «космополитов» и прочих «врагов». По всей видимости, такая же малая чистка готовилась и на кафедре классической филологии. Во всяком случае, меня, студента-третьекурсника и председателя студенческого научного кружка, вызвала к себе главная идеологическая дама кафедры и

предложила на готовящемся заседании выступить с разоблачением кафедральных «космополитов» от имени студенческой общественности, а пока держать язык за зубами. Я выяснил подробности готовящегося заседания, обещал подумать, но в тот же вечер отправился с предупреждением к Софье Викторовне Поляковой, в дом которой я был тогда уже «вхож». Помню, что вскоре многие члены кафедры оказались на бюллетене или ушли в отпуск, потом наступило лето, заседание так и не состоялось, и мне очень хотелось думать, что хотя бы косвенной этому причиной был я. «Космополитов» все равно уволили, но не всех и без публичного издательства.

После увольнения О. М. Фрейденберг исполнять обязанности заведующего стал Я. М. Боровский. И поныне не могу понять, почему «партийный выбор» пришелся на этого ученейшего и добрейшего человека. В те времена за героя вполне мог сойти тот, кто просто находил в себе силы не совершать подлостей, которые от него требовались. Что касается Я. М. Боровского, то он не только воздерживался от предписанных свыше гадостей, но открыто и даже публично выражал собственное мнение по разным поводам и старался помогать и коллегам и студентам, последнее я испытал на себе. Когда меня в 1951 г., после окончания университета, кафедра и Ученый совет факультета рекомендовали в аспирантуру, соответствующие бумаги по пути с филфака в главное здание «потерялись». Причина «утери» и безнадежность положения были совершенно очевидны, однако Яков Маркович Боровский летом, во время отпуска, сам находясь отнюдь не в надежной ситуации, неоднократно приезжал в университет, чтобы ходить по инстанциям и упорно стучаться в закрытые двери.

Некоторые маленькие, может быть сейчас уже и не всем понятные детали, свидетельствуют о степени его независимости. Помню, как на каких-то из первомайских и ноябрьских демонстраций, посещение которых было тогда почти обязательным, он шел под красными стягами и патриотическими лозунгами и среди «всемирного ликования» увлеченно беседовал с аспирантом Владимиром Васильевичем Каракулаковым на латинском языке...

Я. М. Боровский часто не мог понять глубины невежества отдельных студентов и, услышав от них какую-нибудь «дикую» форму греческого глагола, мучительно старался припомнить, какой диалект может иметь в виду студент...

Гораздо осторожнее вел себя Иосиф Моисеевич Тронский,

что вполне объяснимо и тем, что был уже репрессирован его брат, и «несчастной» его фамилией (Иосиф Моисеевич Тронский по понятным причинам сменил свою фамилию на Тронский). И. М. Тронский пользовался абсолютным авторитетом на кафедре, и Я. М. Боровский, казалось, ничего не делал без его одобрения. Нам Иосиф Моисеевич читал интересный спецкурс по истории римской элегии, но мои более тесные с ним контакты относятся к позднейшим годам.

Академика Ивана Ивановича Толстого я застал, видимо, не в лучшие его годы. Он был уже очень немолод, болел, пережил смерть жены. Я много слышал от «довоенных» студентов о его блестящих лекциях. С нашим курсом он вел спецсеминар и спецкурс по Аристофану, но, скорее всего, Ивану Ивановичу нужна была большая и более отзывчивая аудитория, нежели пятнадцать-двадцать студентов нашей группы. Временами глаза его загорались, изложение становилось увлекательным и оживленным, а лекционный материал перемежался личными воспоминаниями и отступлениями. Не могу забыть одного из его блестящих замечаний (шел 1951 г., близилось «дело врачей» (!)): «Сразу после революции я говорил: я граф, но у меня жена еврейка, теперь я говорю: у меня была жена еврейка, но я граф» (надо учесть, что на самом деле его супруга была армянкой!). Привожу эти строки и не знаю, сумеют ли их понять и оценить молодые люди, однако растолковывать острословие — дело неблагоприятное.

Закончу тем же, с чего начал: с тех пор кафедра прошла большой путь, у нее, как и положено, были и взлеты и падения, на ней работали и работают глубокие исследователи античности, но ни в одну эпоху она не объединяла такого количества выдающихся ученых, как в те глухие послевоенные годы. Ради их памяти я и написал эти заметки.